

УДК 94(7)-7+ 94(57)+325

М.Ф. Ершов

Скрытые образы русского города: от сакральной мистерии к греховной драматургии

Аннотация. В статье анализируются культурные аспекты формирования образов отечественного города в XVII–XIX вв. В данный период продолжались трансформации городов и смена их состояний. Переход к Новому времени в российской цивилизации вел к постепенному вытеснению сакральных начал. Образы палача, жреца и жертвы постепенно смещаются на периферию. Для русского города этого периода характерно демонстративное тяготение к актерству, драматургии, греховности. В его образах раскрывается осознание людьми того времени специфики очеловеченного пространства в новых исторических условиях.

Ключевые слова: актер, барокко, блудница, город, грешник, драматургия, маргинал, образ, самозванец.

M.F. Ershov

Hidden images of Russian cities: from sacral mystery to sinful dramaturgy

Summary. This article analyzes the cultural aspects of formation of images in native city of XVII–XIX centuries. There were transformations of cities and change of their status during this period. The transition to a new time in the Russian civilization led to the gradual replacement of the sacred principles. Images of executioner, priest and victim are gradually shifted to the periphery. The Russian city of this period is characterized by demonstrative inclination to acting, dramaturgy, sinfulness. His images reveal people's awareness of the specifics of humanized space in new historical conditions.

Keywords: actor, baroque, fornicatress, city, sinner, dramaturgy, marginal, image, impostor.

Настоящая публикация продолжает цикл наших статей об исторической эволюции очеловеченного пространства и его образов [1, 92–99; 2, 146–154]. В одной из предшествующих работ в журнале «Вестник угроведения» (2013, № 1 (13)) также была выявлена взаимосвязь древнерусского города с образами жреца, жертвы и палача. Однако их доминирование не было вечным. Жизнь в условиях перехода России к Новому времени требовала появления активной личности, рассчитывающей преимущественно на собственные силы. Неподвижность социального мира позднего Средневековья начинает наполняться расширяющимися альтернативными возможностями.

Возникает ощущение простора. «Простор есть высвобождение мест, вмещающих явление бога, мест, покинутых богами, мест в которых божественное долго медлит с появ-

лением. Простор несет в себе местность, готовящую то или иное обитание. Профанные пространства – это всегда отсутствие сакральных пространств, часто оставшихся в далеком прошлом» – утверждает М. Хайдеггер [3, 97]. Поэтому в очередной раз начинает видоизменяться образ пространства, в первую очередь городского. Он, этот образ становится проще, понятнее, приближается к человеку, наблюдается его десакрализация.

Цель данной работы заключается в анализе произошедших замещений. Нам важно знать, каким образом формирование новых реалий отображалось в русском общественном сознании. Понимание специфики действий социокультурных механизмов при замене одних образов пространства другими ведет к большему пониманию нашего прошлого, мира людей наших предшественников. Вряд ли стоит еще

раз дополнительно акцентировать внимание на том, что знание исторической эволюции образов очеловеченного пространства помогает нам лучше ориентироваться и в сегодняшнем мире.

Давно замечено, что после преодоления Смуты рубежа XVI–XVII вв. у наших предков наблюдалась определенная усталость. Тяжкая борьба за восстановление российской государственности не прошла для них бесследно. На смену долгу, жертвенности закономерно пришли желание отдыха, жажда праздника. Однако, любой праздник это всегда выход из обыденности, из нормы, правила, идеала. Праздник может быть приобщением к сакральному миру и тогда он вновь требует напряжения душевных сил. Но праздник может играть и чисто рекреативную функцию.

В период после Смуты происходит усиление именно рекреативной, развлекательной составляющей праздничного действия. Оно связано с повсеместным смещением культурных смыслов и ценностей в русской действительности. Куда-то в прошлое отодвигается законченность, упорядоченность и строгость церковной архитектуры. Храмы XVII в. оказываются лишенными внутреннего единства и каноничной законченности. Их отличают нарядность, дробность, пестрота. В живописи на смену неистовству Дионисия и умиротворенной созерцательности Рублева приходит вычурность строгановского иконописания. Обмирщение затрагивает и литературу: здесь появляются новые, в большинстве случаев, профанные жанры.

А.П. Андреев замечает, что если «в эпоху Средневековья человек был устремлен в вечность, то Возрождение начинает переориентировать его на будущее. Отсюда, кстати, идет характерное для Возрождения увлечение темой переменчивости судьбы, символизируемой «колесом фортуны». По мнению исследователя в XVII в. «раскол общественного сознания углубился, ярко проявившись в противостоянии старообрядцев и никониан, в котором первые утверждали идею вечности-в-прошлом, а вторые – вечности-в-настоящем (при этом будущее понималось как будущее всего православного мира)» [4, 117].

Одной из возможных причин возникновения культурного раскола, видимо, была ускоренная модернизация страны. Исследователям еще предстоит детально выяснить, какие прямые или опосредованные связи существовали между модернизационными усилиями, инновационными проектами и архаичным сознанием, в котором отображались образы очеловеченного пространства. Применительно к России разрешение эта проблемы осложняется тем, что обновление общества определялась не только внутренними причинами, но в результате внешних заимствований.

Естественно, что традиционное сознание первоначально не воспринимало новые реалии, либо воспринимало их выборочно и не вполне адекватно. К подобному не восприятию, по нашему мнению, возможно причислить многократно цитированные слова инока Филофея, автора концепции «Москва – третий Рим». Игумен писал, что он «человек сельский и невежа в премудростях, не в Афинах родился, ни у мудрых философов учился, ни с мудрыми философами в беседе не бывал. Учился есмь книгам благодатного закона, чем бо моя грешная душа спасти и избавиться вечного мучения».

Примером выборочного восприятия является отношение царя Алексея Михайловича к западным новинкам. По сведениям его современников, у отца Петра Первого присутствовало стремление к наивным экспериментам. В Подмосковье, по приказу царя, проводились опыты по выращиванию арбузов, винограда, хлопчатника и тутовых деревьев. Царь даже лично пытался привить к яблоне побеги других растений, вплоть до того, что засовывал в надрезы зерна пшеницы, ячменя, проса, мака. Не чурался он и привлекательных иноземных заимствований. Нередко тяга к западным «чуждым» также принимала у царя анекдотические формы.

В книге А.И. Заозерского «Царская вотчина XVII века. Из истории хозяйственной и приказной политики царя Алексея Михайловича» приводится немало подобных курьезов. Постоянному царскому комиссионеру Гедбону поручалось найти за границей «мастеров таких, чтоб умели то сделать так, чтобы

всякие птицы пели и ходили, и говорили, как в комедии делятца». Царь требовал, чтобы комиссионер нашел «подкопщиков самых добрых, которые б умели подкоп вести под реки и под озеро, и сквозь горы каменные, и на гору вверх, и сквозь воду». Заказывалось также «стекло такое, как под город пришел и чтоб в городе мочно высмотреть все: станет тот город головою вниз и человека мочно поставить вниз головою».

Как считает Б.П. Кутузов, процитировавший данную работу, Алексей Михайлович «преклоняется перед «чудесами западной культуры», о которых у него просто фантастическое представление. Заграница для него воистину «страна святых чудес» и безграничных возможностей; такие убеждения у русского православного царя могли быть выработаны, вероятно, только воспитанием в соответствующем духе. Не имея точного представления об основах материальной культуры Запада и воспринимая ее главным образом в виде всяких, как он сам однажды выразился, «диковинок, каких в Московском государстве нет», он наивно убежден в техническом «почти всеобъемлющем могуществе мастера-иноземца» [5, 221–225].

Критическое отношение современного старообрядческого историка к царю-никонианину не отменяет, однако, того обстоятельства, что отсутствие конкретного опыта уже само по себе провоцировало появление мифических образов. И их преодоление было возможно только на практических путях. Потребовалась неумная энергия Петра Великого, чтобы западная техника переместилась, хотя бы для части населения, из сферы чудес в мир обыденных явлений. Распространение иноземной культуры в России осуществлялось в двух проекциях: «сверху вниз» и «от центра к периферии». В городах, на верфях и на заводах новые веяния укоренялись куда быстрее, чем в патриархальной деревне.

Нельзя не согласиться с мнением известного исследователя Р.Г. Пихоя, что работа на горном заводе «в конечном итоге полнее раскрывала причинно-следственные связи внутри производственного процесса, которые были трудноуловимы в сельском хозяйстве. Техни-

ческие знания, изложенные на языке науки XVIII в., раскрывающие в прямом и переносном смысле механику заводского дела, оставляли за границами мистики большую часть заводских производств. Мистика сохраняла позиции лишь там, где велика была роль удачи, форта. На заводах в феодальную эпоху продолжали существовать разнообразные заговоры, «теологическое мировоззрение» в значительной мере сохраняло свое значение при объяснении общей картины мира, **однако сфера осознания заводского производства оказалась секуляризованной** [6, 235] (выделено автором цитаты).

Итак, благодаря реформам, внутри сакральной культуры создавалось некое инородное тело, в котором теперь проживали и работали люди. Это тело серьезно деформировало менталитет «своего» населения, однако новый способ существования полностью «не отменял» привычного мироустройства. Отсюда – постоянное ожидание, какого либо вторжения извне. Данное ожидание было взаимным – как со стороны неземледельческого населения, так и со стороны сельских жителей. И, хотя в реальности, со временем, сфера рационально воспринимаемого мира ширилась, подспудный страх по-прежнему присутствовал.

И сельским, и городским жителям приходилось считаться с доминированием норм постоянно расширяющегося индустриального общества. Пребывание на периферии модернизируемого пространства порождало чувство ущербности. Оно, это чувство, первоначально проецировало ущербность на внешний мир с его новациями (что было характерно для традиционной культуры). Затем вектор переноса негатива изменился. Для части городского образованного меньшинства жизнь в России начала все более восприниматься как неподлинная.

Если Алексей Михайлович видел мифический Запад как мир полезных чудес, то Петр Великий уже пытался массово укоренить конкретные иноземные новинки на русской почве. Но куда более культурно радикальным оказался один из литературных персонажей этой эпохи. Главный герой «Истории о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной

королевне Ираклии Флоренской земли» обычный хундородный дворянин. По собственной инициативе Василий Кориотский поступает в матросскую службу в Санкт-Петербург, по собственной инициативе отправляется учиться морскому делу в Голландию.

Чувство сыновней любви к отцу ни сколько не помешало Василию жениться на прекрасной королевне и остаться благополучно жить за границей до самой смерти. Характерно, что в повести откровенно проигнорированы как профессиональный вопрос, так и вопрос государственной измены. Верящий в Бога Василий легко, без душевных терзаний, меняет место жительства, конфессию (начинает ходить в «кирку») и российское подданство. Василий не чурается карьеры, но приоритет комфортного существования, частной жизни для него несомненен [7, 47–57].

Данная наивная приключенческая повесть, сделанная по западным лекалам, но по стилю близкая к XVII в., явно ориентирует человека на достижение успеха в земных делах. Пафос этого произведения связан с действиями активного удачливого индивида. Главный персонаж «Гистории» не совершает ничего сверхъестественного, мифически-героического. Он максимально активен: учится, торгует, добивается расположения «верхов». Герой лишен качеств волшебника, приземлен. Он – обычный человек, который удачно пользуется моментом. Появление повести отображало интересы служилого люда петровской эпохи и предвосхитило основные положения Манифеста о вольности дворянской, принятого несколько десятилетий спустя.

Наступала иная эпоха, с ее сумбурностью, неупорядоченностью и, даже, грехом. Этот бурный период, конечно же, был порожден товарным производством, но и не только им. Логика внутреннего культурного развития города здесь совпала с переходом к рыночным отношениям. Город переходил в новую стадию, отказываясь от доминирования своих прежних, уже «отработанных» образов. Объективное возрастание роли городов при формировании национального рынка дополнялось здесь и заменой внешнего антуража.

Утрата значимых культурных целей, отказ от жесткой определенности раз и навсегда определенного канона провоцировали хаотичное движение культурных компонентов. Оно, это хаотичное движение, привело к тому, что город перестал восприниматься как икона. Трансцендентный мир иконы каноничен, почти неподвижен, ведь она является окном в другой мир. Мир города, уже лишено сакральных качеств, напротив, максимально динамичен. Город, как социальный организм, обладает большей свободой, он живой и последовательный. По сути, отказ от преобладающих ранее жреческих черт позволил городу намного полнее раскрыть свои еще не реализованные свойства.

Карнавалы, маскарады, парады, театрализованные представления, ярмарочные действия, мошенничество и преступность перестали ощущаться в обновленном городе как нечто чрезвычайное, как приближение к идеальному божественному миру. Напротив, они оказались наглядным отрицанием этого мира. Город опрощался. При его переходе в иные, качественно заниженные состояния, присущие ему образы трансформировались. Они также утрачивали сакральные свойства. На смену сакральным началам приходил заурядный грех. Наблюдалось и перевоплощение прежних городских свойств в их противоположности.

В предисловии к своей комедии «Мот, любовью исправленный» (1765 г.) ее автор В.И. Лукин попытался объяснить причины создания произведения: «Игравши видел я более ста человек, не только совершенно промотавшихся, но и в самую погибель пришедших. Большею частью случалось сие с молодыми дворянами, присылаемыми от отцов своих с глупыми дядьками или к несмысленным, или к беспечным родственникам. Разорялись они обычно ремесленными картежниками. Все простаки, в столицы приезжавшие, и некоторые щегольки, без воспитания и без присмотру в столицах жившие, бывали оброчными сих промышленников крестьянами» [8, 146].

Здесь, что ни фраза, то культурный переворот привычных ранее смыслов. Мошенничество становится ремеслом, профессией. Дворяне по отношению к бесчестным людям,

по существу недворянам, оказываются и простаками, и «оброчными крестьянами». И сам Владимир Игнатьевич Лукин предпочитает бороться со злом, хотя и открыто, но с новым модным «вывертом». Он пишет комедию. Актерству карточных шулеров он противопоставляет актерское перевоплощение. Автор надеется не столько на Бога, сколько на нравственное совершенствование человека, облагороженного или плотской любовью, или публичным комедийным действием.

Интересна историческая эволюция официальных городских публичных мероприятий в России. Религиозное «шествие на осляти» патриарха Никона в Москве XVII в. сменилось петровскими и екатерининскими торжествами восемнадцатого столетия, густо одобренными античными аллегориями. Догматика культуры постепенно уступала место имитации и культурной стилизации. Появилась возможность выбора. Современники могли по собственному усмотрению наряжаться в античные или любые другие одежды.

Но и стилизация под античность со временем сместилась на периферию. Начиная с Павла I, на авансцену выходят военные парады. Город на время становится приложением к плацу. Парад конкретен. В нем почти отсутствует игра смыслов. Он, хотя бы на время, жестко геометрически упорядочивает городское пространство и социальные отношения. Как это ни парадоксально, но на параде не меньше личной свободы, чем на маскараде. Участник парада личностен. Ему нет необходимости скрывать лицо или пытаться изобразить «другого». Напротив, он, как воин, прилагает максимум усилий, чтобы добиться собственного успеха, хотя и в общем строю. В конечном итоге парад оказывается совокупностью личных физических усилий всех участников, не замаскированной мифической завесой.

Визуально такая совокупность хорошо представлена на рисунке Огюста Монферрана «Освящение Александрийской колонны». Объединившись, люди воздвигли столп, упирающийся в небеса. Ричард Уортман, анализируя данный рисунок, обратил внимание на способ подачи воинских масс в городском пространстве. «Они размещены правильными

прямоугольниками по всему пространству площади, окруженной монументальными классическими зданиями. Сцена удаляется, создавая впечатление, что уходит в бесконечность, что Россия – это бесконечное пространство неоклассических площадей, заполненных войсками на параде» [9, 421–422].

Тяга к парадности, к жесту, к позе достигла пика в первой половине XIX в. Их изнанкой были не только грубая муштра, но и бунт. То, что он тогда еще не вышел из прежней знаковой системы, свидетельствовало восстание декабристов. В.В. Скоробогачкий оправданно подчеркнул театральность этого выступления. «Сам ход восстания показывает, – замечает исследователь, – что действиями восставших руководила эстетика парада, где сюжет и парад – второстепенное дело в сравнении с гармонией совершающегося действия, где роль основного зрителя отводится командующему – императору» [10, 148].

Разумеется, парад всегда был строго формален. Полноценного выхода для реализации индивидуальных свойств он, все же, не давал. Вполне закономерно, что еще через столетия, культурно и социально значимыми для городских улиц оказываются митинги, демонстрации и, как крайний вариант, – баррикады. Всплеск ничем не ограниченного индивидуализма в последующем привел к анархии. И, в соответствии с диалектикой, уже в XX в. анархия сменилась советскими демонстрациями. Эти демонстрации удачно совмещали в себе обязательность парадов со стихией карнавалов или ярмарочных гуляний.

Итак, первоначальная христианская символика с духовными и светскими пастырями дополняется, а затем почти полностью вытесняется сублимированной античностью, где монарху отводится роль воскресшего мифического персонажа. Но именно тогда правитель перестает мифологизироваться, перестает отождествляться с героем. Цель его представления менее значима – только лишь изображение положительных героев. Такой правитель примеряет на себя образы прошлого не менее успешно, чем предметы собственного гардероба.

И никто из зрителей не жаждет полной достоверности в многочисленных перевоплощениях монарха. Это невозможно по определению, ведь «короля делает свита». Актерствует не только монарх. Актерствуют и его придворные, которые состязаются в сравнении главы государства с многочисленными героями мифов и могущественными богами. Актерствует город в целом, ведь почетные эпитеты начинают доставаться и любому значимому лицу. В дополнение к реальности и параллельно с ней складывается своеобразный игровой континуум.

На смену тождественности неподвижного божественного мира приходит динамика игры с быстро меняющимися правилами. Однако игра, лишённая божественной целесообразности, ведёт к огрублению и снижению значимости смыслов. Так, например, в образе монарха начинают усиливаться механистические светские начала. Его функции быстро сужаются. Теперь он – спусковой механизм и главный двигатель рационально геометрически устроенного парадного передвижения.

Но и само передвижение также огрубляется. В конечном же итоге, перемещение по улицам, по городам, по очеловеченному пространству вообще становится хаотичным и свободным. Оно очищается и от рациональной составляющей. Ранее максимально возвышенные до небес идея и символ снижались до земного простейшего, почти броуновского движения.

Проблема взаимоотношений с «верхами», вплоть до монарха, теперь оказалась чисто территориальной. Монарх или столица теперь не столько «высоко», сколько далеко. Они материальны и, при желании, при случае, вполне достигаемы. Надо лишь решиться ловить удачу и – ехать! Разумеется, в столицу. За материальными благами.

«В культурной иерархии слово уступало место вещи, – замечает А.М. Панченко. – Если раньше вещь была аппликацией на словесной ткани, то теперь слово сопровождает вещь, играет роль пояснения, узора, орнамента, своеобразной арабески. Иначе говоря, если прежде весь мир, все элементы мироздания, включая человека, воспринимались как слово, то теперь слово стало вещью» [11, 245]. От себя

заметим, что вещь, во всяком случае, в традиционном обществе, долговременна. Озвученное слово, напротив, коротко. Для того, чтобы его запечатлеть необходимо яркость, эмоциональность, краткость.

Все эти свойства характерны для актеров. Именно тогда русский город начинал примерять на себя иные, уже не жреческие одежды. Его многогранный образ все более тяготел к роли лицедея. Такое восприятие задавало определенное поведение. Для города, близкого к лицедейству, были характерны сиюминутная радость, умение воспользоваться подходящим моментом для материального обогащения или социального возвышения. Социальное движение, присущее городу, оборачивалось беспрепятственным калейдоскопом смыслов и образов.

Исследователи фольклора давно обратили внимание, что именно в городе Нового времени на смену распевным былинам про богатырей, героев и жрецов приходят короткие, но емкие истории-анекдоты. Достаточно близки к анекдотам сатирические повести или плутовские романы. По сути, они представляют собой компиляции анекдотов, нанизанные на сквозную сюжетную нить. Что отличает эти, явно городские жанры? Подводка и неожиданный, парадоксальный, но мотивированный конец короткого рассказа.

Анекдоты всегда, в той или иной мере, несут в себе смеховое начало, иногда – пошлость. По этой причине они находятся вне сакрального мира. Их герои, неважно симпатичны они или нет, не годятся на роль идеальных положительных персонажей. Они не столько задают нравственные ориентиры, сколько развлекают человека, помогают ему отдохнуть и расслабиться. Они рассчитаны отнюдь не на отстраненного мудреца или безмолвных почитателей былинных сказителей. Слушатель должен быть рядом и непосредственно, тут же, смехом, выражать свои эмоции.

Рассказчику, актеру, а в предельном обобщении и городу, нужно немедленное признание, аплодисменты. И город, и актер – позеры. При этом обновленному городу, как и актеру, могут завидовать, к нему стремятся, но он лишен прежнего ореола. Он достаточно прост, понятен, чрезвычайно близок к наблюдателю

и, в силу этого, уже приземлен. Для такого города не характерно следование привычным для всех нормам. Данное отсутствие прямо работает на снижение образа города в глазах наблюдателей.

Дело в том, что актер или блудница ведут некое «вывернутое» по отношению к прежней упорядоченной жизни существование. Они максимально мобильны, мало привязаны к месту. Они отказываются от привычной нормы. Так, ранее богатырь и палач претендовали быть защитниками справедливости. Сменяющий их священник, обладая таинственной святостью, почти насильно втайне исповедовал грешника. Последний должен был, хотя иногда и формально, но каяться.

Актер и блудница, напротив, не только грешат, но и максимально демонстрируют собственное тело (оно наглядно вплоть до физиологических отправления!), собственный грех или грехи других людей. Участь обоих – эпатажное поведение и отказ от пристойности. Жить не своей жизнью для них привычное занятие, почти повседневность. Но, отказываясь от собственного «я», данные агенты делегируют тем самым утраченное ими чувство комфорта, собственной значимости и собственного превосходства окружающим.

Так презрение к ярмарочному паяцу обычно перевоплощается у мещанина в эгоистичное собственное возвеличивание. Соответственно, тот же мещанин, традиционно понося город за бездуховность, отнюдь не спешит вернуться в идиллическую деревню. Ему хорошо и по месту жительства. В том числе и потому, что это место жительства – город – можно безнаказанно осуждать. Происходит своеобразная мысленная приватизация критики и объекта критики. Возвышенное ораторское искусство, прежде удел немногих, опускается до рыночных сентенций городской толпы.

Критикуемый город, приобретая данные образы, начинает вызывающе предъявлять внешнему наблюдателю свои порочные стороны. Ранее его негативные компоненты прятались «внутри» городского тела. Они присутствовали, но были не слишком-то заметны, либо их старались не замечать. Господствовало умолчание о негативе. И напротив, силь-

ные, положительные стороны города выставлялись наружу. Так, видимые границы (например, крепостные стены) символизировали мощь города, его способность противостоять дикой некультуренной природе. Грущобы же, напротив, скрывались.

Положение меняется с качественным и количественным ростом города или пребыванием его в индустриальном обществе. Дальнейшее очеловечивание города, его эгоцентричная тяга к комфорту оборачиваются негативными проявлениями в окружающем пространстве. К сожалению, внешняя граница типичного индустриального города сплошь и рядом является границей его внутреннего непотребства. Здесь сосредотачиваются отходы жизнедеятельности горожан и отходы промышленного производства.

Они нередко соседствуют с маргиналами. Катрин де Сильги, автор книги «История мусора», замечает, что за крепостными стенами Парижа середины XIX столетия «в обход закона, запрещавшего строительство жилищ в этой зоне, ее постепенно заполнил, люд, вытесненный из городского центра: тряпичники, чернорабочие, зеленщики и т.п.» [12, 78]. От себя заметим – это типичная ситуация, характерная не только для столицы Франции.

М.Е. Салтыков-Щедрин в своем последнем произведении «Пошехонская старина» емко отобразил первые впечатления провинциалов при въезде в дореформенную Москву: «Верстах в трех полосатые верстовые столбы сменялись высеченными из дикого камня пирамидами. И навстречу понесся тот специфический запах, которым в старое время отличались ближайшие окрестности Москвы.

– Москвой запахло! – молвил Алемпий на козлах.

– Да, Москвой... – повторила матушка, проворно зажимая нос.

– Город... без того нельзя! Сколько тут простого народа живет! – вставила свое слово Агаша, простодушно связывая присутствие неприятного запаха с скоплением простонародья» [13, 199].

Итак, для приезжих было привычно связывать неприятный запах либо со столицей, либо с социальными низами. Единство двух

образов обеспечивается их приниженностью по сравнению с предшествующими временами. Ранее существовавший город-крепость (некогда стоянка богатырей) перевоплощался в город-тюрьму (здесь уместны аллюзии с палачеством, Бастилией, Петропавловской крепостью) и в город-храм. С течением времени репрессивная функция во многом замещалась рекреативной. Город жаждал развлечений. Это с неизбежностью вело к выносу вовне прежде скрытого содержимого.

Внешнее складирование отходов жизнедеятельности горожан несло в себе, кроме экологических проблем и дополнительную культурную нагрузку. Перед взором наблюдателя предстал почти биологический мир, далекий от трансцендентной статичности. «Физиология», «чрево» – эти и подобные эпитеты могли применяться к городу только после десакрализации его образа [14, 2]. Да, икона может мироточить, кровоточить и даже плакать, но у нее нет, и не может быть желудка. Точно также, у образа города-иконы отсутствовали легитимные, признанные обществом естественные отправления.

И, напротив, у видоизмененного городского организма теперь отходы оказались вынесены на передний план. Они не скрыты стыдливо в пространстве, но и общественное сознание их также не игнорирует. Гласное обсуждение экологических и социальных проблем говорит как о запущенной социальной болезни данного пациента, так и о возможности его принципиального выздоровления. Запретных тем, способных вызвать гнев потусторонних сил, здесь нет. И вовсе не надо божественного вмешательства, чтобы устранить явные пороки, угрожающие городу.

Переизбыток хаотических смыслов, вызванный новым состоянием города, вел к возникновению ряда последовательно сменявших друг друга культурных направлений. Первым таким направлением была культура барокко. Данный стиль являлся отображением скрытой энергетики, непрерывного движения профанного мира. Для барокко не была характерна пустота. Она из другого, божественного измерения. Некоторая суетливость, присущая барокко, была связана с большим, чем ранее,

очеловечиванием его образов. Барокко наглядно демонстрировало эгоистичную сиюминутную радость жизни. Этот стиль не идеален и далеко не случайно его последующее вытеснение упорядоченным классицизмом.

Но и классицизм, с его претензией на общественную значимость, ориентировал человека на гражданскую жизнь в этом мире: «здесь и сейчас». Его культурная гегемония не простиралась далее возвеличивания мифологизированных образов далекой героической эпохи. Классицизм не скрывал собственной театральности, он лишь по-иному структурировал отведенное ему пространство. Он более компактно использовал прежние смыслы для благоустройства собственно городской территории, то есть, опять-таки, утилитарно.

Сентиментализм, как частный театр, как театр для немногих интеллектуалов, был мыслительным побегом не столько в сельскую идиллию, сколько способом отстранения от надоевшего общества, в первую очередь от назойливого городского соседства. Даже в столицах все про всех всё знали. Что уж говорить о провинции? Немногочисленное образованное дворянское меньшинство в городе со временем начинало тяготиться своим социальным окружением. Оно жаждало анонимности, которой ему так недоставало и в городе, и в провинции.

Поэтому сентиментализм, также как и пребывание в модных масонских ложах, были способами снятия психического напряжения. Невозможность полноценного расставания с привычным комфортом и вынужденное пребывание в пространстве, с сословными и иными перегородками, рано или поздно вели к эпатажному поведению, к дендизму, к романтизму. Реализация вызова обществу здесь была условной, неполноценной, в форме игры. И барокко, и классицизм, и сентиментализм и даже романтизм это, прежде всего, актерство.

«По точном рассмотрении я вижу только две вещи, кои привлекают сюда чужестранцев в таком множестве: спектакли и – с позволения сказать – девки. Бесчинство дошло до такой степени, что знатнейшие люди не стыдятся сидеть с девками в ложах публично. Сии твари осыпаны бриллиантами» – сокрушался

Д.И. Фонвизин, анализируя популярность Парижа [15, 343].

Но и российская столица обладала сходными чертами. Тот же Фонвизин в своих мемуарах писал, что «ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел первый раз отроду» [16, 378]. Далекое не случайно, что исследователи, в частности Ю.М. Лотман, неоднократно подчеркивали и театральность русской культуры XVIII – первой половины XIX века, и, особенно, театральность Санкт-Петербурга. [17, 17–18]. В это время, по мнению Ю.М. Лотмана, для дворянина или чиновника «отдых начинает ассоциироваться с приобщением к миру кулис или табора» [18, 52].

Актер исполняет роль, но подлинная игра далека от простого подражания. Ее действие самоценно само по себе, безотносительно к достигнутому результату. Желание положительного результата ни в коей мере не отменяет итога неудачной игры. Кроме того, чтобы успешно играть, актер должен и сам преображаться, хотя бы на время верить в реальность сюжета. Различные направления в искусстве и определяемые ими различные модели поведения оказывались способами образно передать специфику социальных отношений.

Одновременно они были и способами ориентации личности в очеловеченном пространстве. Все эти художественные течения давали современнику принципиальные ответы на вопросы: где идеал, куда двигаться и что делать. Сопереживание выбранным стилям определяло не просто эстетические пристрастия, но и задавало мотивацию общественно значимых поступков конкретной личности в конкретном пространстве.

Карнавалы, маскарады, фаворитизм, дуэли, карточная игра, дворцовые перевороты и крестьянские бунты, возглавляемые самозванцами, существовали в едином историческом контексте. Данные игровые формы и социальные движения взаимно дополняли друг друга. Любая игра синонимична движению, она неотделима от него. Особенностью Нового времени стало не просто движущееся игровое начало, а принципиально иное качественное развитие, окончательный разрыв с циклической замкну-

тостью традиционной культуры. И он был осуществлен на городской территории.

Город в Новое время оказался занятым игрой. Теперь, по отношению к подопечным пространствам, он выступал в роли провокатора для выходцев из традиционной культуры. Ведь, если он, город (а также – столица, монарх) оказались вне установленного порядка вещей, имитируют их, играют, то они ничем не отличаются от иных активных субъектов. И другие везунчики способны рискнуть, удачно сыграть, стать победителями. Однако отдаленность от центра, от благ требует от таких участников куда больше риска, чем у обычных игроков. Так возникает феномен самозванчества.

«При отсутствии сколько-нибудь четких критериев, позволяющих отличить подлинного царя от неподлинного, самозванец, по видимому, может до какой-то степени верить в свое предназначение, в свое избранничество. Показательно в этом смысле, что наиболее яркие самозванцы – Лжедмитрий и Пугачев – появляются только тогда, когда нарушен естественный (родовой) порядок престолонаследия и тот, кто реально занимает царский трон, может в сущности сам трактоваться как самозванец» – замечает Б.А. Успенский [19, 206].

Такой самозванец не одинок, ему искренне подыгрывали рядовые участники восстания. «Экая ты дура, матушка-царица, – говорят пугачевские казаки плачущей Устинье Кузнецовой, очередной жене фальшивого «Петра Третьего», которая боится ехать в столицу, – ведь Москвой-то будет Яик!». Это не шутка, но и не холодные рассудочные построения. В словах казаков проявлялась особенность их миропонимания. Яик и Москва, а также их жители вполне способны к рокировкам. Разумеется, если счастье улыбнется бунтующим. Фантазмагория происходящего здесь переплеталась с игровым началом, с чувством праздника, который ненадолго пространственно и хронологически совместился с лагерем пугачёвцев.

Им нужно успеть, выражаясь словами народной песни, «попить, поесть, поцарствовать» [20, 121–122, 139–140]. Переименования Бердской слободы в Москву, Кагарлинской в Петербург, а Сакмарского городка в Киев [21,

196], означали не только попытку «приблизить», перенести на окраину страны значимые центры. Они также свидетельствовали об языческих и, одновременно, об эсхатологических настроениях участников бунта. Надо сказать, что образованные современники достаточно хорошо понимали крайнюю культурную архаику, которую нес Е.И. Пугачев, наступая на городские пространства. А.П. Сумароков в стихотворении «Станс городу Синбирску на Пугачева» сравнивал угрожавшего городу самозванца с драконом и крокодилом [22, 114].

Древний архетипический сюжет эпохи генезиса городов появился тогда не только в стихах, но и в культурном пространстве России. Места сосредоточения власти и святынь (понимаемые тождественно), удачливые люди стремились присвоить. Эти действия порождали двойную угрозу. С одной стороны пришельцы угрожали городской культуре при грубом приближении к ней, с другой – города несли в себе угрозу чрезмерно активным пришельцам.

Невозможность же преодоления последней угрозы трансформировалась в зуд переименований (феномен, характерный и для последующих времен). Способность дублирования и даже тиражирования атрибутов власти и святости свидетельствовала только об одном. Святость оказывается не просто ослабленной. Для маргиналов, выходцев из традиционной культуры, она сиротливо бесхозна. Чтобы ее захватить вовсе не требуется обладать качествами героя или былинного богатыря. Достаточно авантюрного склада характера.

Отнюдь не богатырские качества делали самозванца возможным победителем. Напротив, именно захват добычи, победа вели к их появлению. В сущности, Пугачеву было присуще скрытое язычество [23, 63–68]. Он пытался дублировать в ухудшенном, языческом варианте подвиг Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Он – индивидуалист. Но индивидуализм отдельного «воскресшего» Петра III наталкивался на совокупность дворянских индивидуализмов в столицах и провинциях России. Поэтому Пугачев и не мог достичь вождя деленной короны.

Дело в том, что его социальная опора оказалась чрезвычайно узка. Индивидуальные на-

чала у крестьян и большинства горожан (а последних было чрезвычайно мало) еще не развились. Ими было можно манипулировать – и только. На роль активной движущей силы они не годились. Поэтому Пугачеву приходилось делать ставку на маргиналов: раскольников, казаков, а то прямых уголовников, из которых и рекрутировались его ближайшие сподвижники.

Кроме того, самозванец и его окружение не смогли преодолеть социальных барьеров, созданных дворянской культурой. Пробуждение индивидуализма первоначально связано со стремлением обособиться, выделиться. Пышные внешние формы (вспомним барокко) здесь довлеют над незрелым содержанием. В данный период у верхов наблюдались усложнение смыслов, актерство, театральность, своеобразная кодировка публичных поступков. Включение в данную систему было чрезвычайно затруднено для посторонних. Именно поэтому фальшивые графы Воронцовы, при новоявленном царе могли ввести в заблуждение только лишь неграмотных крестьян.

Но незрелый индивидуализм, да еще связанный с артистизмом, имеет и изнаночную сторону. Он циничен, лишен пиетета перед возвышенным. По сути, дорогу Пугачеву социально и культурно расчистило само российское дворянство. Оно, забывшее Бога, надевшее иноземное платье и активно участвующее в столичных дворцовых переворотах, оказалось настолько же аморально, насколько и антиавторитарно. Его раскованная игра породила кровавую игру Пугачева. Такой самозванец мог действовать только в ту эпоху, где господствовала условность, где авторитет перед местом пребывания монарха, перед столицей исчез или еще не появился.

Далеко не случайно, что появление самозванцев приходится на XVII–XVIII вв. Это эпоха культурного и территориального переворота. Петр Первый, перенеся столицу на берега Финского залива, создал прецедент культурного ослабления территории Московского царства в целом. Как это ни странно, но образы прежней сакральной столицы и всей России, превратившейся в империю, оказались в значительной мере девальвированы именно

его поступком. Бывшее Московское царство, как сосредоточие понятной широким слоям православной святости, как место пребывания подлинных царей оказалось заменено некой чужеродной космополитической химерой, империей, еще неведомой тогда русским.

Униженная Москва, брошенная преобразователем и его преемниками. Петербург пока еще не обретший имперского величия. Консервативные или, напротив, незрелые, наспех созданные провинциальные городки, не успевающие за европейскими новациями. В образах и той и другой столицы, в провинциальных образах той поры присутствуют черты слабости, покорности. Малолюдные российские города оказались внешне слабыми и несопоставимыми с масштабами имперских преобразований.

Они были вынуждены имитировать так недостающую им активность. Такая мимикрия в глазах внешнего наблюдателя ассоциируется со слабостью. Кажется, что все эти города нуждаются в грубом и не обремененном моралью повелителе. Их захват вроде бы оправдывает предшествующие преступления захватчика. Однако такая позиция глубоко ошибочна. Российские города в XVII, в XVIII, и особенно в XIX в. прошли длительную социокультурную эволюцию.

Их очеловеченное пространство нельзя отнести к *tabula rasa*. Оно было дифференцировано и, даже у европеизированных городов, имело внутреннюю логику развития, обладало сопротивляемостью, устойчивостью к внешним воздействиям. Новоявленный пришелец обычно воспринимал актерство как проявление слабости города. Но он далеко не всегда был способен учесть скрытую силу города, завуалированную лицедейством.

Дело в том, что любой актер, в том числе и город, слаб, но не беззащитен. Его оружие – эмоции. С их помощью он способен манипулировать сознанием слушателя, зрителя, наблюдателя. Важно лишь уметь играть и вовремя менять приевшийся репертуар. Поэтому на смену божественной мистерии (ее сюжеты неизменны) приходит ситуативная драматургия. Все действующие лица от монарха до крестьянина, приехавшего в город, вынуждены играть отведенные им роли.

Помимо культурной составляющей немало важное значение для русского города того периода имела специфика рыночных отношений. При неразвитости стационарной (магазинной) торговли встречи продавца и покупателя тогда были эпизодическими. Акты купли-продажи осуществлялись по принципу: «не обманешь – не продашь». И здесь также было важно наличие актерских способностей. На рынке или ярмарочной площади было нечего делать без умения торговаться, «рядиться», высмеивать и шутить.

Данное обстоятельство вело к двойственности сознания. Городская жизнь воспринималась одновременно и как представление, и как неподлинное существование. «Личность горожанина как бы «расслаивается» на ролевою оболочку и глубинное основание, на действующее в конкретной ситуации лицо и культурную основу личности – замечает А.В. Баранов. – Формализации подвергается содержание роли, культурная же основа обнаруживается в личном общении и в способе «проигрывания ролей» [24, 93].

Все вышеизложенное содействовало негативному восприятию отечественных городов. Развитие рынка в России так не привело к их подлинному общественному признанию. Данное отношение вело к негативным оценкам городской жизни. Торговля, да и сами города сплошь и рядом подлежали осуждению. Город, как и актер, не считались полноценными работниками. Далеко не случайно, что для отечественной мысли XVIII–XIX вв. было заурядным признанием множества городов «ненастоящими». Последующее развитие экономики смогло лишь отчасти обеспечить рокировку приоритетов.

Да, доминирование торговли постепенно заменялось господством производственной инфраструктуры. Да, нарастающая эмансипация от «внешних» торговых операций вела к росту населения, индивидуализма и новой городской культуры. Однако, как показывает последующий исторический опыт, до полноценного существования рынка и новых индустриальных городов было еще очень далеко.

Город, примеряя на себя маску актера, получил возможность сравнивать себя, свой об-

раз, свое поведение, свою игру со сходными по значению ролями у соседних социумов. Отсюда один шаг до мыслительного разделения существенных свойств у отечественных городов. И действительно, XVIII в. характеризовался рождением провинции. Следующее за ним девятнадцатое столетие стало временем осознания как провинциального, так и столичного миров.

Возросший интерес к символике Москвы, Петербурга, русской провинции был связан

со стремлением преодолеть власть образа, отказать от навязанных стереотипов, прийти по дороге познания до внутренней сути очеловеченного пространства. Эта эволюция отказа от лицедейства растянулась больше чем на столетие и не завершена до сих пор. И сегодня в отечественных городах еще излишне много нездорового позерства, а имитация деятельности нередко подменяет так необходимые городам и людям преобразования.

Литература

1. Ершов М.Ф. Культурные аспекты генезиса города // Вестник Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск). 2012. № 1 (24). С. 92–99.
2. Ершов М.Ф. Образы города: богатыри и пришельцы // Вестник угроведения (Ханты-Мансийск). 2011. № 2 (5). С. 146–154.
3. Хайдеггер М. Искусство и пространство // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991. С. 95–99.
4. Андреев А.П. Раннее Московское Просвещение // Историческая психология и социология истории. 2012. № 1. С. 111–128.
5. Кутузов Б.П. Церковная реформа XVII века. 4-е изд. доп. Барнаул, 2008. 634 с.
6. Пихоя Р.Г. Общественно-политическая мысль трудящихся Урала (конец XVII – XVIII вв.). Свердловск, 1987. 272 с.
7. Прокопович Ф.Г. История о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Иракии Флоренской земли // Русская литература XVIII века / Сост. Г.П. Макогоненко. Л., 1970. С. 47–57.
8. Лукин В.И. Мот, любовью исправленный // Русская литература XVIII века / Сост. Г.П. Макогоненко. Л., 1970. С. 145–177.
9. Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. От Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002. 608 с.
10. Скоробогатский В.В. По ту сторону марксизма. Свердловск, 1991. 272 с.
11. Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000. 464 с.
12. Сильги К. де. История мусора / Пер. с фр. М., 2011. 285 с.
13. Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание соч. в десяти томах. Т. 10. М., 1988. 575 с.
14. Бахтияров А. Брюхо Петербурга. Общественно-физиологические очерки. СПб., 1888. 316 с.
15. Фонвизин Д.И. Письма из Франции // Русская литература XVIII века / Сост. Г.П. Макогоненко Л., 1970. С. 338–348.
16. Фонвизин Д.И. Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях // Русская литература XVIII века / Сост. Г.П. Макогоненко Л., 1970. С. 373–383.
17. Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т. II. Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины XIX века. Таллинн, 1992. С. 9–21.
18. Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 25–74.
19. Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 201–235.
20. Фирсов Н.Н. Пугачевщина: опыт социально-психологической характеристики. СПб., 1908. 185 с.
21. Мыльников А.С. Искушение чудом: «русский принц», его прототипы, двойники и самозванцы. Л., 1991. 265 с.

22. Сумароков А.П. Станс городу Синбирску на Пугачева // Русская литература XVIII века / Сост. Г.П. Макогоненко. Л., 1970. С. 114.
23. Ершов М.Ф. Архетип Ивана-царевича в период социальных потрясений (на примере Е.И. Пугачева) // Архетип. Культурологический альманах. 1996. Шадринск, 1996. С. 63–68.
24. Баранов А.В. Человек в городе // Духовное становление человека (Сборник статей). Л., 1972. С. 80–99.

References

1. Ershov M.F. Kul'turnye aspekty genezisa goroda // Vestnik Jugorskogo gosudarstvennogo universiteta (Hanty-Mansijsk). 2012. № 1 (24). S. 92–99.
2. Ershov M.F. Obrazy goroda: bogatyri i prishel'cy // Vestnik Ugrovedenija (Hanty-Mansijsk). 2011. № 2 (5). S. 146–154.
3. Hajdegger M. Iskusstvo i prostranstvo // Samosoznanie evropejskoj kul'tury XX veka: Mysliteli i pisateli Zapada o meste kul'tury v sovremennom obshhestve. M., 1991. S. 95–99.
4. Andreev A.P. Rannee Moskovskoe Prosveshhenie // Istoricheskaja psihologija i sociologija istorii. 2012. № 1. S. 111–128.
5. Kutuzov B.P. Cerkovnaja reforma XVII veka. 4-e izd. dop. Barnaul, 2008. 634 s.
6. Pihoya R.G. Obshhestvenno-politicheskaja mysl' trudjashhijsja Urala (konec XVII – XVIII vv.). Sverdlovsk, 1987. 272 s.
7. Prokopovich F.G. Istorija o rossijskom matrose Vasilii Koriotskom i o prekrasnoj korolevne Iraklii Florenskoj zemli // Russkaja literatura XVIII veka / Sost. G.P. Makogonenko. L., 1970. S. 47–57.
8. Lukin V.I. Mot, ljubov'ju ispravlenyj // Russkaja literatura XVIII veka / Sost. G.P. Makogonenko. L., 1970. S. 145–177.
9. Uortman R.S. Scenarii vlasti. Mify i ceremonii russkoj monarhii. T. 1. Ot Petra Velikogo do smerti Nikolaja I. M., 2002. 608 s.
10. Skorobogackij V.V. Po tu storonu marksizma. Sverdlovsk, 1991. 272 s.
11. Panchenko A.M. O russkoj istorii i kul'ture. SPb., 2000. 464 s.
12. Sil'gi K. de. Istorija musora / Per. s fr. M., 2011. 285 s.
13. Saltykov-Shhedrin M.E. Sobranie soch. v desjati tomah. T. 10. M., 1988. 575 s.
14. Bahtiarov A. Brjuho Peterburga. Obshhestvenno-fiziologicheskie ocherki. SPb., 1888. 316 s.
15. Fonvizin D.I. Pis'ma iz Francii // Russkaja literatura XVIII veka / Sost. G.P. Makogonenko. L., 1970. S. 338–348.
16. Fonvizin D.I. Chistoserdechnoe priznanie v delah moih i pomyshlenijah // Russkaja literatura XVIII veka / Sost. G.P. Makogonenko. L., 1970. S. 373–383.
17. Lotman Ju.M. Simvolika Peterburga i problemy semiotiki goroda // On zhe. Izbrannye stat'i v treh tomah. T. II. Stat'i po istorii russkoj literatury XVIII – pervoj poloviny XIX veka. Tallinn, 1992. S. 9–21.
18. Lotman Ju.M. Dekabrist v povsednevnoj zhizni (Bytovoe povedenie kak istoriko-psihologicheskaja kategorija) // Literaturnoe nasledie dekabristov. L., 1975. S. 25–74.
19. Uspenskij B.A. Car' i samozvanec: samozvanchestvo v Rossii kak kul'turno-istoricheskij fenomen // Hudozhestvennyj jazyk srednevekov'ja. M., 1982. S. 201–235.
20. Firsov N.N. Pugachevshhina: opyt social'no-psihologicheskoi harakteristiki. SPb., 1908. 185 s.
21. Myl'nikov A.S. Iskuszenie chudom: «russkij princ», ego prototypy, dvojniki i samozvancy. L., 1991. 265 s.
22. Sumarokov A.P. Stans gorodu Sinbirsku na Pugacheva // Russkaja literatura XVIII veka / Sost. G.P. Makogonenko. L., 1970. S. 114.
23. Ershov M.F. Arhetip Ivana-carevicha v period social'nyh potrjasenij (na primere E.I. Pugacheva) // Arhetip. Kul'turologicheskij almanah. 1996. Shadrinsk, 1996. S. 63–68.
24. Baranov A.V. Chelovek v gorode // Duhovnoe stanovlenie cheloveka (Sbornik statej). L., 1972. S. 80–99.